

# СТРАНСТВИЯ

## I.

Дождь кончился. Прохладно было даже не для экватора, для средней полосы, а ехал в тропики! Ну что ж, беда невелика, как говорил Гандлевский. Вышел пройтись по городу. Добрел до сквера перед собором, на скамейку отдышаться присел. Здесь трудно пешеходам - что ни переулок, то бежит наверх, Сизифу подражая; местный житель сух и поджар, что греческий атлет, без всякого спортзала. Да, присел на лавочку. Вообще, в чужих краях любая жизнь волнует сердце, ибо ты одинок, свободен, незащищен, а значит, молод.

Ряды кирпичных башен в отдаленье карабкались по склону, над горами зелеными сияла радуга, белели, заплатками нехитрых огородов окружены, сараи самостройка.

А в в воздухе тяжелом состязались отряды ярких мыльных пузырей с бледнеющею радугой, торговец игрушечными птицами кидал их в высоту, и те всю резвились бия крылами на резиновом приводе, под взглядами своих живых соперниц, чернофигурных, как аттические вазы, ревнующих и плачущих о прошлом.

А между тем военный вертолет ревел в недобром небе, совершая огромные круги. «Повстанцы, - думал я, - наркобароны. Трудно, беспокойно.»

И то сказать – одиннадцать жандармов (я посчитал) по скверику ходили сосредоточенно, как всякий страж порядка. Вдруг дернулась одна из их овчарок,

срываясь с поводка, к моей скамейке. Я,  
признаться, вздрогнул. Молодой сержант,  
напрягся, посуровел, оживился,  
увидев под скамейкой дурачка-  
крысенка, тут же подозвал, смеясь,  
товарищей. Зверек несчастный сжался  
от страха, окруженный псами  
и великанами, лопочущими что-то  
на благородном языке конкисты.  
А девушка-жандарм с индейским  
разрезом глаз уже почти сняла  
намордник со своей овчарки, но  
начальник седовласый без улыбки  
качнул суровой головой. И было много  
охотничьих восторгов. Наконец  
один жандарм нашел в густой траве  
осколок кирпича и запустил  
его в зверька. Тот тихо пискнул,  
и дернулся, и отошел туда,  
где ни гражданских войн, ни кокаина,  
ни престарелых глиняных соборов.  
Жандармы разошлись, пластмассовая птица  
застряла в ветках пальмы. Пожилые  
ходатаи на стульчиках складных  
печатали на пишущих машинках  
прошения в полицию для робких  
крестьян. И бородатый гитарист  
с повязкой на глазах признательно кивал,  
когда невидимые доброхоты  
бросали нержавеющие деньги  
в его двухцветную соломенную шляпу.

## II.

Богатые не ездят в Коктебель,  
который при царе горохе нашей  
Италией считался, голубей  
и призрачней, чем в среднерусской чаше  
разбавленное небо. И, в сезон  
переполняясь публикою средней  
руки, к началу октября пустеет он,  
как сердце опустеет в час последний.

Где грохот сахариновой попсы?  
Где барышни, искательно и робко  
хихикающие? Мальчики, усы  
приглаживающие? С заморской газировкой  
киоски? «Кушать – только у татар».  
«Я весь сгорел». «Ведь мы договорились!»  
«Какой портвейн – амброзия, нектар!»  
Разъехались, распались, растворились

в пространстве. Или времени? Не суть.  
Они же братья – вместе разделяют  
и властвуют. Бледнеет Млечный путь.  
Хозяйская овчарка тихо лает  
на чью-то тень. Настойчив и горюч  
живой прибой. Пустыня внемлет Богу.  
Торчит в замке забытый длинный ключ.  
Мир вообще пустеет понемногу -

то в дискотеке пляшет подшофе,  
то смотрит виновато, то не верит  
в смерть, то в прибрежном морщится кафе,  
то съеживается, как подросток перед  
ударом розги. Что, дружок Харон,  
тяжел твой челн? Волна – неоспорима?  
И листьями сухими испещрен  
мой школьный табель, поздний берег Крыма.

### **III.**

Он был не просто бомж, а изрядный бывший поэт. Сутул,  
опрятен, с речью нескладной, носил он с собою стул  
складной, чемоданчик, и буковый ящик из-под вина носил,  
и в отличие от бродяг настоящих, милостыни не просил.

Наша жизнь - ноль, бормотал, неволею скручена, отравлена сулемой.  
В Нью-Йорке в марте пахнет магнолией и цветами сакуры, Боже мой!  
И в оттаявший парк любители-лабухи привозят рояль – и труды  
легки,  
когда слушают Баха под эти запахи разнополые юные лопухи.

Какое же множество праздных и добрых собралось под открытым  
небом в час  
быка и медведя. Поставлю автограф, сочиню элегию на заказ.  
Мы живем в королевстве фальшивых денег, лениво думал он,  
и хрустел огурцом, на острых коленях держа обшарпанный  
ремингтон.

Да, к нему и ленты уже не купишь, и клавишу треснувшую в груди  
не сменишь. Любому покажет кукиш старуха-смерть, погоди,  
твердил про себя он, к любому опию привыкаешь. А где ответ?  
Разложенные на ящике ксерокопии иногда покупали, но чаще – нет.

Я, признаться, привык к бездомному этому, скучал, когда он исчез  
без следа, как водится между поэтами и всеми прочими. Наотрез  
не хочется верить, что дух его, хмурясь, носится, удручающе тих,  
в краях суматошных тридцатых улиц, а может, сороковых...

## IV.

Вышивая китайским бисером, женщины молча глядят в окошки  
на розовые столбы дыма и пара над крышами приземистого городка.  
Небольшое солнце коптит, словно китовый жир в каменной площадке.  
Топят мазутом, в навигацию привезенным на танкере с материка,

добытым где-то в Дубае. Пахнет смерзшейся музыкой и забвеньем.  
Посвистывает поземка, шуршит снежной крупой. У-у! О-о!  
Мужчины закусывают контрабандный спирт тюленьим  
салом, и глаза у них покрываются сонной пленкой. Ничего

не скажешь – славно устроена жизнь в столице. Всякий день самолеты  
доставляют чипсы и молоко, кока-колу и противоцинготный лук.  
Кинотеатр есть и спортзал. «А больница хорошая?»

«Разумеется, что ты!

С пунктом предотвращения самоубийств и стационаром  
для чахоточных». Клуб –

роскошнее некуда. Библиотека в три тысячи книг с открытым  
доступом. Бережно пьем дефицитное пиво. Хозяйка

показывает образцы

мыльного камня, из которого режет на продажу фигурки.

Он схож с нефритом,

по цвету, но мягок и теплоёмок. Темнеет рано. Во все концы

света плывут волны тьмы, северного сияния волны.

Звезды огромны. Слово

звучит приглушенно, сыплется дальними огоньками

на погребальный лед

залива. Это наши ребята на снегоходах возвращаются с зимнего лова,  
говорит она с гордостью. Дай им Бог знатной добычи

и вечера без забот.

## V.

Художник нам изобразил  
почти последний день Помпеи,  
скрипучих красок портупей  
на холст, как розы, положил.  
На заднем плане там вулкан  
огонь и лаву изрыгает.  
За истуканом истукан  
с вершины храма упадает.  
А перепуганный народ,  
включая женщины, и дети,  
и стариков седобород,  
бежит, спасение в предмете  
имея, за город, в поля,  
вопит, утрачивая разум –  
и вся окрестная земля  
заражена сернистым газом.

Печально это полотно,  
сей памятник людским мученьям!  
Зато пропитано оно  
аллегорическим значеньем.  
Упал языческий кумир  
эпохи эпиграмм и танцев,  
так погибал античный мир  
с приходом варваров-германцев!  
Изящно умирал, с таким  
восторгом! Ядом пахли розы.  
Герои падали ничком,  
приняв пластические позы,  
и зритель радуется, ибо  
какой бы пепел ни летел  
по небу черному, в изгибах  
их полуобнаженных тел  
сквозит гармония. Художник!  
Певец наездниц в декольте!  
Не зря ты ставил свой треножник,  
молясь добру и красоте!

И я от смерти не успею  
сбежать – одет ли, нагишом.  
Как много ящериц в Помпеях,  
на этом кладбище большом!  
Вольно приезжим ротозеям  
блуждать меж собственных могил,  
и сетовать, что по музеям  
развезены все фрески. Был  
отменный град, а стал неважный –  
иссушенный, малоэтажный.  
Харчевня, булочная, дом  
терпимости. С таким трудом  
мы создаем свою вселенную,  
засыпанную пеплом. Для  
чего, сухая и мгновенная,  
крошилась желтая земля  
под плугом, и глаза воловьи  
разглядывали мир с любовью  
и благодарностью? Труды  
и дни. Железный век случайней,  
чем бронзовый, зато печальней  
и дольше...

## VI.

Думает лысый – паршиво идут дела.  
Мысли мои скудны, голова гола  
и похожа на череп, обросший обвисшей кожей,  
тот, которому впору лежать в песке,  
с дождевым червем, свернувшимся на виске,  
с мертвой мечтой в зубах, на кроличью кость похожей.

А волосатый рассчитывает: в юбилей  
сбациаю стрижку тысяч за шесть рублей,  
новыми гордо буду зубами клацать,  
и сам черт мне будет тогда не брат,  
потому что проснусь я не стар, а млад,  
беззаботный и благостный, словно в двадцать

лет. Вечереет праздник с живою му.  
Отцветают женщины, но ему  
хорошо. Хряпнув крепкого, гласом хриплым  
запевает он во главе стола  
(балычок, шампанское, все дела),  
и трясет кудрями, и пахнет «Шипром»,

то есть ладаном и дубовым мхом.  
А поют про рябину, про отчий дом,  
и раскачиваются, и глядит на друга  
лысый друг, и кривится его губа.  
Ах, судьба, бормочет он, ах, судьба,  
Только песня, в сущности, степь да вьюга...

## VII.

Поздняя осень в московских пределах,  
поле сражения красных и белых.  
Кашляет сын, нездоров.  
Гибли мы на поле, плакали во поле.  
Две отставные вороны на тополе –  
Бехтерев и Дегтярев.

Важно слетели к помойке. Обедают.  
Каркают вдумчиво - верно, беседуют  
про молодые голодные дни.  
Жены и дети слушают речи их,  
кружат вороны в краях человеческих -  
как расплодились они!

Не говори мне, что мы проиграли.  
Дальние теплоэлектроцентрали  
паром исходят. Бредут по делам  
жители города транспортных пробок,  
трещин, железобетонных коробок,  
города жалких реклам,

хмуρο несут колбасу и капусту  
в тонких пакетах. Просторно и грустно.  
Сыплет колючим снежком  
на отсыревшие гнезда вороны.  
Где же ты, где, суета новогодняя,  
рокот гитары ночной?

Странствия, милый, обычно кончаются.  
Именно этим наш брат отличается  
от одноклеточных ангелов. Знать,  
голос и город в нем необратимы,  
слезы, как шлюзы по краю плотины –  
и ничего не отнять.

## VIII.

Строительные краны над Сайгоном  
так высоки, что страшно. Облицовка  
гостиниц – полированный гранит,  
в торговых центрах чисто и просторно.  
Толпа на мотороллерах спешит  
куда-то, презирая светофоры,  
все в масках марлевых, в американских джинсах.  
И малый разрешается, и средний,  
и крупный бизнес. Кто-то продает  
шашлык из тараканов, кто-то – супчик,  
который неимущие хлебают,  
присев на корточки, иной торгует  
французскими багетами, наследьем  
эпохи колониализма, словом,  
подъём при сохранении командных  
высот в руках у партии.

Прости мне,  
читатель, эту чушь. Меняем тему.

Диктаторы есть разные. Пройдохи  
живут народным потом, паханы –  
народной кровью. Хо Ши Мин, конечно,  
был не из них, он был неисправимый  
романтик, и борец, и патриот.  
Он даже молодому Мандельштаму,  
когда в Москву заехал из Парижа  
разжиться денежкой у Коминтерна,  
сумел мозги запудрить в интервью  
журналу «Огонек». Потом дружил  
с усатым людоедом, наколол  
японцев и французов, раздолбал  
американцев. И скончался в славе,  
и завещал товарищам свой прах  
развеять над отчизною, а те  
многоколонный чудный мавзолей  
соорудили, мумию вождя  
в стеклянный гроб вложили, с притяженьем  
земного лона грубую поверхность  
морей, как полагается поэту,

сличать.

И пионеры юные поют:

*«Зачем мы по пятницам, дядюшка Хо,  
змеиное пьем молоко?»*

*«Чтоб биться с врагами, чтоб яростней быть,  
и родину жарче любить.*

*Ведь наша отрада, единый Вьетнам,  
затем и завещана нам,  
чтоб алое знамя с гербом золотым  
плескалось над краем святым!»*

Билборды хороши в Сайгоне: мертвый вождь  
с отеческой улыбкой созерцает  
солдат, рабочих, химиков, колхозниц,  
смеющихся от счастья. А толпа  
на мотороллерах спешит, и деловито  
глядит, и шлейфом газов выхлопных  
окутывает немногочисленные церкви.

## **IX.**

...Нет, мы здесь не одни - шарахаются тени  
предшественников наших к подворотням,  
свои стихи беспомощно твердя –  
не заклинанье, а предупреждение.

Что Александр? на все лады клянет  
глобализацию, автомобили  
и – Бог весть почему – велосипеды,  
потом, смирясь, смягчает, замечает  
цветы Италии – на первом месте ирис,  
сияющий и синий .

Николай,  
воспев и розовый миндаль, и запах  
тосканских трав, в историю ныряет,  
созвездие имён употребляя:  
«Савонарола», «Леонардо», «Алигьери».  
А Михаил, распутный сибарит,  
серьезного вообще не говорит.  
Флоренция ему – лишь веточка мимозы  
в петлице, сладкая игра, хрусталь, балкон,  
апрель, безумие, одеколон,  
и на рассвете – после всех объятий – слезы  
блаженные.

Вот Алексей Сурков  
в костюме мешковатом. Он, толков,  
суров и вдохновеньем чудным полон,  
в чужой стране, где пот рабочий солон,  
сложил эклогу (мы так не смогли б)  
Буонаротти, со словами вроде  
«власть времени», «экстаз» и «холод глыб».

Все в мире повторится,  
как уверял епископ: и птица  
над Понте Веккио (сорока), и несметные  
щедроты юности, и нищета, и смертные  
движения долота. Канва. Елена. Пяльцы  
и мрамор – бывший мел, то есть углекислый кальций,

сплоченный временем, как ткань стиха –  
изгнанием.

Душа моя глуха.

Искусства – чувство, Арно – лучезарно,  
трепещет – блещет, город – ворот, тот  
который поднимает, от красот  
постылых отворачиваясь, житель  
блокадного дождя.

А ветер бредет на север,  
и дева просвещенная моя  
смеется кошкам в окнах, каруселям  
на площадях, и немудреный профиль  
(носатый, в непомерном капюшоне)  
знай чертит пальцами на пыльных стеклах  
заброшенной скрипичной мастерской.

## Х.

Не рыдай, мой Леонардо, мой конструктор голубой.  
Не летает? Ну и ладно, ну и славно, Бог с тобой.  
Свет сожжет, любовь изложет, потускнеют честь и медь.  
Человек взмывать не может, но зато умеет петь,

тешься: sapiens не кролик и не смертный раб совсем.  
Есть такой в ютьюбе ролик (или девять, или семь):  
Наострился homo в пропасть прыгать ради юных дев,  
перепончатую лопасть на конечности надев.

Боже, как парят ребята, всякий смел, свободен, горд!  
Так на родине когда-то парашютный правил спорт,  
стратостат взлетал сквозь тучи, пузырился хлебный квас -  
только нынешний покруче. Ах, как жаль, что не про нас,

не про наше поколение. Знаешь, мы заражены  
как у Лермонтова, ленью, черной верностью жены  
из Багрицкого. На скальпах плешь горит, зелена мать.  
Не хотим в швейцарских Альпах трезвых птиц изображать.

Лучше сяду на летadlo, крылья из люминия,  
Пусть меня доставит, падла, в те блаженные края.  
где поют, сбиваясь часто, кровный мёд и молоко  
безвоздушные гимнасты в черных сталинских трико.

## **XI.**

Кто у нас лишний кто у нас грешный  
в яблонях старых шелковый дым  
первенца вишней братца черешней  
девочек майским дождем проливным

Слезем-ка с дрожек вступим во дворик  
ехали долго и далеко  
первенцу ножик братцу топорик  
малым сестренкам сережки в ушко

Тучей влюбленной, картой крапленой  
тешится время, плюшевый лев.  
Молнией грянет, горло поранит,  
ляжет на стол шестеркою треф.

Что мы ответим выросшим детям  
только полсвета исколесим  
ключик скрипичный свечки привычной  
в нашем предместье неугасим

а домовые, ножки кривые,  
бродят по дому ручки скрестя  
в карты играют дверь открывают  
и просыпаясь плачет дитя

## XII.

По важным господам, негордый бард,  
я шестерил тогда, горячих точек  
немало повидавший... переводчик?  
Нет, чуть повыше рангом. Лангобард?  
Нет. Перельман? А! Вспомнил - драгоман!  
В костюмчике, в очочках, скромный гномик  
при гоблинах тайком мечтал роман  
о крахе постсоветских экономик  
состряпать, взяв примером некий хим-  
завод или колхоз, светло и просто  
святая бессмертный памятник лихим,  
(как морщатся сегодня) девяностым.

Увы мне! Труд мой был отвергнут всеми  
редакциями. Выяснилось, что я  
дурной стилист, что в социальной теме  
не разбираюсь, и вообще, друзья,  
за прозу браться – видит Бог, нелепость  
для тех, кто по лирической тропе  
ползет. Ведь эрос мне милей, чем эпос,  
танатос – как-то ближе ВВП.  
Но это к слову. (А дороже слова  
я ничего не знал). Беги, строка -  
бесснежной музыки нетвердая основа -  
не дольше сна, не гибче языка

гадючьего, не слаще волчьих ягод.  
Ни на день не загадывать, ни на год.  
Все отберут. Не восторгаться. Жмых  
жизни: черепа архаров круторогих  
(из Красной книги) на обочине дороги  
в Китай, и джигитовку удалых

кара-киргизов, и росу на розе -  
пожертвуем, смеясь, той самой прозе,  
к которой неспособны.

Вертолет  
скользил между горами. Зябко, грустно,  
беспомощно мне было.

Для искусства  
и для дыхания Господь создал природу

ужасно много.

Например, Тоскана  
воронежская. Суздаль, огород  
монашеский. Байкал, приют бурята  
и хариуса. Бронзовый Тибет,  
которым просвещенные юнцы  
ну прямо бредят, да.

Но знаешь образцы  
необжитой вселенной? Там ни гонга,  
ни фрески, ни отважного Армстронга.  
Базальт и снег. Озера синие мертвы.  
Свобода, но чужая. Немоощь, тяжесть.  
Я, тот, кто смерти лепетал «иду на вы»,  
с Памиром спорить не отважусь.

У, как серьезно! Соплеменник, брось  
занудствовать, радея ли, рыдая  
о юности.

Умрем.

Зато земная ось  
наклонена, как шпага молодая.